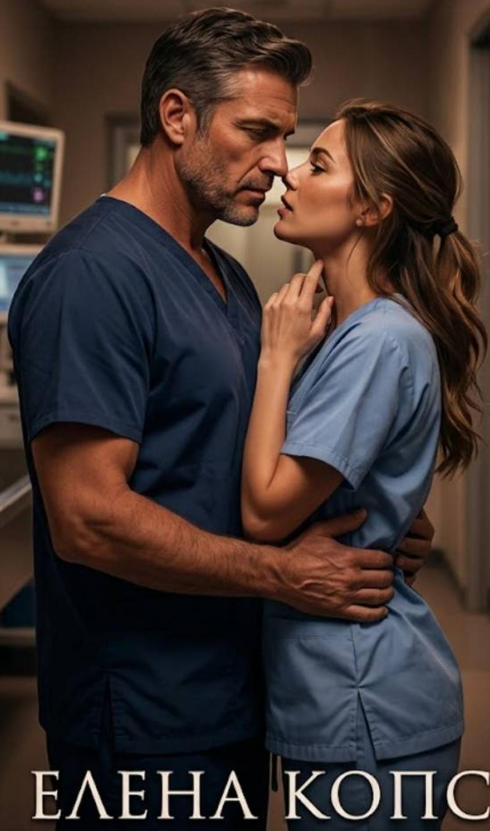


НЕ ВЫХОДЯ ЗА РАМКИ

роман



ЕЛЕНА КОПС

18+

Елена Копс

Не выходя за рамки

<https://litres.ru/74461819>

SelfPub; 2026

Аннотация

В отделении реконструктивной хирургии не верят в случайности, а правила пишутся кровью. Девятнадцатилетний опыт, сорок выгнанных ординаторов и железный закон заведующего Дмитрия Тихонова гласят: от эмоций у стола умирают, а близость рождает вседозволенность.

Вера Рощина пришла в центр не за протекцией известного отца и не за сочувствием. У нее безупречные руки, упрямый характер и привычка сидеть в архиве до полуночи. Ей не нужны подачки — только право доказать, что она чего-то стоит.

Но однажды в три часа ночи над открытым сердцем пациента хирургическая инструкция дает сбой. Чтобы спасти человека, Вере придется переступить через регламент. А Тихонову — сделать выбор между безупречной репутацией и девчонкой, чьи пальцы он научился ставить на шовном тренажере.

Профессиональная медицинская драма про цену независимости, профессиональную этику и любовь, которая начинается там, где выключают музыку в операционной.

Содержание

ГЛАВА 1	4
ГЛАВА 2	11
ГЛАВА 3	17
ГЛАВА 4	23
ГЛАВА 5	30
ГЛАВА 6	38
ГЛАВА 7	45
ГЛАВА 8	50
ГЛАВА 9	55
ГЛАВА 10	62
ГЛАВА 11	68
Конец ознакомительного фрагмента.	70

Елена Копс

Не выходя за рамки

ГЛАВА 1

Учебный класс кардиохирургического центра пах резиной, спиртом и свежей краской от недавнего косметического ремонта.

На столах стояли двенадцать шовных тренажеров — тяжелые металлические подставки с зажатými в фиксаторах силиконовыми трубками пятимиллиметрового диаметра. Обычный симуляционный стенд для отработки анастомозов.

— Время пошло, коллеги, — сухо объявил куратор, кликнув секундомером.

Двенадцать человек одновременно наклонились над столами. Зашуршали хирургические перчатки, в воздухе сухо защелкали кремальеры иглодержателей.

Задание звучало просто: завязать непрерывный сосудистый шов мононитью пролен 6-0 на силиконовом фантоме за минимальное время. Учебный норматив второго года ординатуры.

Я не торопилась. В кардиохирургии спешка выглядит жалко, да и пальцы сами знали, что делать. Взять иглу на

трети от ушка, войти строго под прямым углом, выдержать шаг в миллиметр, не перетянуть, не подрезать силикон тонкой нитью. Вход, выход, затянуть. Вход, выход, затянуть.

Монотонная работа, почти медитативная. Руки у меня были всегда. С самого детства, когда я часами собирала мелкие пазлы или вышивала гладью — просто потому, что пальцы не дрожали и слушались беспрекословно.

Справа кто-то тяжело, сопел и ругался сквозь зубы.

— Твою мать, пролен опять в узел завязался... — донеслось тихим шепотом.

Парень за соседним столом — высокий, взъерошенный, с крупными кистями — отчаянно пытался распутать прозрачную нить, которая въелась в силиконовый край.

— Инструмент наклони, — пробормотала я, не поднимая головы и продолжая ритмично класть стежки. — Под сорок пять градусов. И не тяни за длинный конец.

— О, спасибо, спасительница, — шепнул он и тут же не удержался от комментария, разглядывая работу своего соседа слева: — Блин, ты глянь на стежки у парня в третьем ряду. Это не сосудистый шов, это шнуровка на кирзовом сапоге. У него там пациент от одного вида истечет.

Я мельком глянула влево: там действительно кто-то лепил узлы с шагом в три миллиметра, искренне надеясь на скорость.

— Мочишь, — ответила я, завязывая последний узел. — Инструктор сейчас оценит этот сапог.

Мой щелчок фиксатора прозвучал в классе вторым. Первой закончила девушка в безупречно выглаженном костюме — Алиса Северина, насколько я помнила по спискам. Она победно закинула подбородок и положит иглодержатель на стол.

Куратор подошел с гидравлическим опрессовочным шприцем, чтобы проверить швы под давлением. Подключил фантом Севериной к трубке со сжатым воздухом и подкрашенной водой, качнул поршень.

На четвертом стежке у Алисы выскочила тонкая струйка красной жидкости. Капля шмякнулась на столешницу. Северина поджала губы, в глазах брызнуло досадой.

Куратор молча шагнул к моему тренажеру. Подсоединил адаптер, давил на поршень. Давление поднялось до ста сорока, ста шестидесяти, двухсот миллиметров ртутного столба. Силикон раздулся прозрачной сосиской, но шов стоял намертво. Ни единой росинки. Ни течи.

– Рощина — сухо, – коротко записал куратор в планшет.

Мне было все равно. Ни гордости, ни азарта. Мой шов стоял не потому, что я талантливая, а потому что я отработала этот анастомоз на свиных сердцах из бойни раз триста за прошлую зиму. Секретов нет, есть только часы у стола.

Когда занятие закончилось и куратор ушел составлять сводный график прикрепления по отделениям, класс загудел. Все кинулись обсуждать тренажеры, вредного инструктора и шансы попасть в хорошую операционную.

Парень с неслушающимся проленом догнал меня у выхода на лестницу.

– Я Кирилл, кстати. Кирилл Ефремов, – он протянул широкую ладонь. – Ты круто шьешь. Где набила руку?

– Вера, – я пожала его сухую, горячую руку. – В морге и на кухне.

Он рассмеялся — громко, искренне, без капли зависти: – О, наш человек! А то тут половина ординаторов ходит с таким видом, будто они уже как минимум профессора академии. Пошли покурим? А то у меня после этого пролена пальцы до сих пор в калачик сворачиваются.

Мы вышли на задний двор центра. Место для курения представляло собой пару облупленных скамеек возле мусорных контейнеров, закрытых от осеннего ветра серым бетонным забором. Сентябрьский воздух был прохладным и чистым, пахло сухими листьями и остывающим асфальтом.

Кирилл щелкнул дешевой зажигалкой, жадно затянулся и выдохнул сизый дым в потолок.

– Ну и какие планы на этот год? – спросил он, прислонившись спиной к забору. – Ты из какого вуза вообще?

– Из Первого Меда.

– Ого. А чего в наш центр приперлась? У вас там своя кардиохирургия сильная.

– Здесь база лучше, – я достала из кармана сигарету, но зажигать не стала, просто крутила ее между пальцами. – И отделение реконструктивной хирургии единственное в реги-

оне, где делают такие пластики.

– А дальше? – Кирилл прищурился, разглядывая меня с дружеским любопытством. – После ординатуры?

– Остаться здесь, – ответила я прямо, без жеманства и кокетства.

Кирилл поперхнулся дымом и коротко захохотал:

– Ого, запросы! Рощина, ты в курсе вообще, какой тут конкурс? На распределении проректор четко сказал: из всего второго года в штатные хирурги центра берут одного. Ну, максимум двоих, если кто-то из стариков на пенсию свалит. А нас двенадцать человек! И Северина тут, у которой папаша — заведующий сосудистой хирургией во второй городской.

Я посмотрела на кончик незажженной сигареты, ровно состригла ногтем кусочек табака.

– Значит, одного, – сказала я тихо.

Кирилл замолчал. Посмотрел на меня уже без обычной своей смешинки, серьезно и внимательно.

– Ты опасный человек, Вера. С таким лицом только банки грабить или на аорте сидеть.

Телефон в моем кармане коротко вибрировал. Я вытащила его, глянула на экран.

На дисплее горел значок пропущенного вызова и одно непрочитанное сообщение. От контакта, подписанного двумя сухими буквами: «А. М.».

«Вера, я знаю, что ты прошла в центр. Давай поговорим. Я могу созвониться с их главврачом, тебе облегчат...»

Я не стала дочитывать. Палец привычно ткнул в значок корзины. Удалить сообщение. Стереть историю вызова.

Двадцать лет прошло с тех пор, как А. М. собрал вещи и ушел из нашей двушки в спальном районе, оставшись для прессы «великим кардиохирургом Аркадием Мезенцевым», а для нас с мамой — прочерком в свидетельстве о рождении, потому что фамилию я сменила при первой же возможности. Никаких звонков главврачу. Никаких подачек. Все, что я получу в этой жизни, я возьму своими руками. Или не возьму вообще.

– Пошли обратно, – сказала я Кириллу, убирая телефон в глухой карман халата. – Сейчас распределение объявлять будут.

В учебном классе было душно. Ординаторы сбились в кучку возле стола куратора. Тот держал в руках длинный лист с распределением по отделениям на первый семестр.

– Итак, коллеги, служебное расписание, – зачитал куратор монотонным голосом. – Ефремов — ишемическая болезнь сердца, отделение №2. Северина — сосудистая патология, отделение №4...

Названия отделений и фамилии звучали одно за другим. Кирилл подмигнул мне, довольный своим назначением. Северина поджала губы — явно рассчитывала на другой корпус, но смолчала.

Куратор сделал паузу, перелистнул страницу и поднял глаза.

– И Рощина...

В классе стало совсем тихо.

– Отделение реконструктивной хирургии клапанов и корня аорты. Заведующий — Дмитрий Сергеевич Тихонов.

По рядам ординаторов мгновенно прошло движение. Кто-то из парней в заднем ряду выразительно присвистнул. Алиса Северина резко повернула голову и посмотрела на меня таким взглядом, будто я только что украла у нее из кармана кошелек.

– Что? – шепнула я Кириллу, не понимая реакции класса.

Кирилл наклонился ко мне и выдохнул прямо в ухо с каким-то жутковатым сочувствием:

– Прощай, Вера. Тихонов за последние пять лет выгнал из своего отделения восьмерых ординаторов. Двоих — прямо посередине операции. К нему вообще никто добровольно не ходит.

ГЛАВА 2

Кабинет заведующего реконструктивной хирургией располагался на третьем этаже, прямо за блоком реанимации, и больше походил на допросную комнату в каком-нибудь районном отделе полиции.

Никаких грамот на стенах. Никаких подарочных скальпелей в бархатных футлярах, которые так любили выставлять напоказ заведующие других отделений. Только пустой рабочий стол из серого ламината, протертое кожаное кресло и массивный книжный шкаф, забитый немецкими руководствами по кардиоторакальной хирургии.

На краю стола лежала тонкая папка с новыми списками ординаторов второго года.

Дмитрий Тихонов перелистнул первую страницу без малейшего интереса. Глаза пробежали по строчкам: оценочные листы, характеристики с кафедры, средний балл за вступительные тесты. Серый административный мусор.

– Ну что там, Дим? Кого нам в этом году сбросили из учебного отдела? – Тимур Мелик-Оганян бесцеремонно подвинул к себе тяжелую керамическую кружку, отпил ровно половину тихоновского кофе и поморщился. – Опять твои любимые зерна заварил? Горчит же, как моя жизнь.

– Не пей, – сказал Тихонов, не поднимая глаз от листа. – Тебя сюда никто не звал.

– Меня звала кардиологическая судьба, – Тимур откинулся на спинку жесткого стула напротив и вытянул длинные ноги в хирургических сабо. – И то, что у меня перед третьей операцией есть двадцать минут свободного времени. Сколько в списке?

– Трое.

– Ставлю свою месячную премию: двое отсеются до первого снега, третий сам сбежит в фармкомпанию продавать аспирин к весне.

Тихонов чуть заметно повел плечом, закрывая папку.

– Сводку из учебного отдела я и без тебя видел.

– Да брось. Ты за двенадцать лет, как сюда сел, сколько их через отделение пропустил? Сорок? Сорок два? – Тимур поднял глаза к потолку, делая вид, что считает. – Сорок ординаторов, Дим. За двенадцать лет. И где они все?

– Работают. В других местах.

– Угу. В районных поликлиниках и на консультативных приемах. А в отделении у тебя остались двое. Самойлов, который спит в ординаторской прямо на кушетке, потому что боится домой уйти, и Григорьев, который на сложной пластике до сих пор бледнеет так, будто его сейчас самого на стол положат. Ты их выжигаешь, Дим. Ты из них требуешь уровень, будто они двадцать лет у стола простояли.

– Я требую, чтобы они не убивали людей, – ровно произнес Тихонов. – В нашем отделении тридцать процентов операций — повторные реконструкции. Ткани рвутся как мок-

рая туалетная бумага. Если ординатор дергается от вида кровотечения, ему нечего делать у моего стола.

Он встал, взяв со стола расписание дежурств. Высокий, сутуловатый, в неизменном темном хирургическом костюме с засученными по локоть рукавами.

— Пойду гляну на пополнение. Гущина просила расписаться за вводный инструктаж.

— Иди-иди, напугай детей до заикания, — Тимур снова приложился к кружке с кофе и ухмыльнулся. — Только сильно не ори. А то у них сейчас психика тонкая, сразу пойдут папочкам жаловаться.

В коридоре перед стендом с расписанием было не протолкнуться. Новая смена ординаторов сгрудилась у доски, обсуждая графики и первые назначения.

Тихонов вышел из прохода тихо, не издавая звуков. Он никогда не смотрел на лица новых ординаторов. Лица лгут. На собеседованиях все они смотрят одинаково — выслушивающе, угодливо, с заглядыванием в глаза и отрепетированной уверенностью.

Он смотрел на руки.

Вот парень в слишком широком халате — судорожно сжимает в кулаке пластиковую папку с документами. Костяшки белые, ногти вгрызаются в пластик. Нервничает так, что плечи подняты к ушам. Этот отвалится первым: напряжение в плечах мгновенно передается на кисть, шов поплывет через пять минут работы.

Рядом девушка — холеная, с идеальной укладкой. Одной рукой держит стаканчик с кофе, пальцами другой непрерывно перебирает цепочку на шее. Ритмичный, навязчивый тикающий жест. Не собрана, рассеяна, прячет страх за демонстративным спокойствием.

А чуть в стороне, прислонившись плечом к стене, стояла ещё одна.

Она не сжимала папок. Не перебирала цепочек. Ее руки просто спокойно лежали вдоль тела, слегка расслабленные в запястьях.

Тихонов зацепился взглядом за ее правую кисть.

Длинные, ровные пальцы с коротко, почти под корень остриженными ногтями. Никакого лака, никаких колец. Узкая, породистая ладонь пианистки или человека, который с детства много работает руками. На тыльной стороне кисти, у основания большого пальца, белел старый, ровный тонкий шрам — слепок старого глубокого пореза, который заживал без ушивания.

Она стояла абсолютно неподвижно, разглядывая расписание на стенде. Ни единого микрожеста. Ни суеты, ни страха.

Тихонов поймал себя на том, что смотрит на эту кисть. Дольше, чем следовало. На две, на три, на четыре секунды дольше обычного административного взгляда.

Внутри мгновенно проснулся сухой, жесткий щелчок. Внутренний запрет, отработанный до автоматизма за двенадцать лет работы заведующим:

Не выделять никого. Никогда. Ни при каких условиях.

Стоило хоть раз посмотреть на ординатора как на человека, а не как на рабочую парную единицу у стола — и все рушилось. Субъективность в операционной убивает. Стоит проявить слабость, простить глупость, дать лишний шанс — и на выходе получаешь калеку на столе или сломанную судьбу у ординатора.

...Ночь. Залитый ярким светом бестеневых ламп зал реанимации. Полный хаос, писк мониторов, суета дежурной бригады. И тонкая, изящная кисть с длинными пальцами, зажавшая салфетку над разорванной тканью. Кисть, которая дрожала так, что плитусы вибрировали. И короткий звонок телефона на столике в его кабинете, на который он тогда так и не ответил...

Тихонов резко оборвал воспоминание, загнав его глубоко под кору, куда задвигал все последние восемь лет.

Он жестко сжал в кармане распечатку с расписанием, перевел взгляд выше — на бейджик на ее халате.

«В. А. Рощина. Ординатор 2-го года».

Значит, дочь Мезенцева. Гущина по секрету уже успела прожужжать все уши про «талантливую девочку с непростой семейной историей».

Ему было плевать на историю. Ему было плевать на фамилию.

Тихонов развернулся на каблуках, собираясь уйти обратно в кабинет, но за спиной раздался легкий шорох.

Тимур стоял прямо за его плечом, прислонившись к косяку двери. На его широком усатом лице расплывалась медленная, чертовски внимательная ухмылка.

– Ты только что смотрел на ординатора, Дим, – тихо, чтобы слышал только Тихонов, проговаривал Мелик-Оганян. – Я тебя двенадцать лет не видел смотрящим на ординатора.

– Я смотрел на расписание, – отрезал Тихонов, проходя мимо него в тень коридора.

– Ну-ну, – хмыкнул Тимур ему вслед. – Расписание у нас теперь, оказывается, носит короткие ногти и стоит у стенда.

ГЛАВА 3

Операционная № 3 встречала холодом. Кондиционеры пахали на полную мощность, удерживая температуру около восемнадцати градусов, чтобы бригада в плотных хирургических халатах не истекала потом над открытым полем.

Я стояла у стены, вымытая по всем правилам, держа руки согнутыми в локтях перед грудью. На мне были стерильный халат, шапочка, маска и защитные очки. Из открытых участков кожи оставалась только узкая полоска лба.

На столе лежал пациент — шестидесятилетний мужчина с тяжелым пороком митрального клапана. Загрудинный доступ уже выполнили, грудина была разведена зажимом, аппарат искусственного кровообращения тихо, ритмично шуршал у правой стены. Руководил перфузией отдельный специалист, непрерывно следивший за показателями на широком мониторе.

Из колонок над дверью лилась тихая, мягкая гитарная мелодия — что-то из старого инструментального джаза. Никакого тяжелого рока, никакой эстрады.

Операционная сестра Наталья, передавая мне длинные хирургические крючки, чуть наклонилась и шепнула прямо сквозь ткань маски:

— Это хороший знак, Вера. Скрипка или гитара — значит, Дмитрий Сергеевич в нормальном духе. Вот когда тихо или

классика тяжелая — тогда хоть святых выноси.

Я молча кивнула.

Тихонов стоял во главе стола. В очках-биноклях, в наглухо застегнутой маске, над которой виднелись только тяжелые, внимательные серые глаза и глубокая складка между бровями. Его руки двигались над открытым сердцем пациента с той размеренной, пугающей точностью, которая бывает только у людей, проработавших у стола больше двадцати лет. Ни одного суетливого жеста. Ни одного лишнего движения.

Позади меня, у стеллажа с медикаментами, стояли двое ординаторов-старшекурсников — Григорьев и высокий парень с третьего года, фамилию которого я толком не запомнила. Они присутствовали на операции в качестве наблюдателей.

Минут через сорок после старта основного этапа, когда Тихонов иссекал пораженные створки клапана, позади раздался тихий шепот.

– Слышь, ты вчера формулу зачета у Гущиной сдал? – Да кое-как на тройку натянул. Вчера в баре засиделись, башка с утра трещит...

Шепот был тихим, почти незаметным на фоне гула аппарата искусственного кровообращения и гитарных пассажей из колонок.

Тихонов даже не поднял головы. Его руки с игольником продолжали плавно выводить шов на фиброзном кольце. Голос прозвучал абсолютно ровно, без крика, без раздражения

— тем самым спокойным, сухим тоном, которым обычно зачитывают правила пожарной безопасности:

— Григорьев. И вы, тот, что за ним. За дверь.

В операционной на секунду повисла пауза.

Ординатор с третьего года дёрнулся, попытался пробормотать: — Дмитрий Сергеевич, мы просто... — За дверь, — повторил Тихонов. Ни единой интонационной перемены. Ни взгляда в их сторону.

Двое старшекурсников молча повернулись, оттолкнули локтями тяжелую матовую дверь предоперационной и вышли. Операционная сестра даже не повернула головы. Анестезиолог за своим экраном продолжит спокойно заполнять наркозную карту. Никто в бригаде не удивился. Это было обычным правилом этой операционной: если ты здесь, ты думаешь только об операции.

Я замерла, еще сильнее сжав металлическую рукоять крючка.

Следующие пять часов превратились в один непрерывный, выматывающий тест на выносливость. Мне не давали делать ничего. Моей единственной задачей было держать рану: два тяжелых стальных крючка-зеркала, разводящих мягкие ткани, чтобы Тихонову был идеальный обзор.

Через три часа нахождения в одной позе спина начала гореть заживо. Ноги затекли, подмышки стали мокрыми, а кисти рук ломило от постоянного статического напряжения. Переступить с ноги на ногу казалось смертельным грехом.

Я стояла как приклеенная, упершись пятками в кафель, и смотрела только в рану.

На шестом часу операции, когда новый механический протез клапана уже встал на место и Тихонов завершал подшивание створок, он впервые за весь день произнес мою фамилию.

– Рощина.

Я мгновенно подобралась: – Да, Дмитрий Сергеевич.

– Правый крючок. На два сантиметра вверх и чуть на себя. Зафиксируйте.

Я плавно, без рывка сместила стальную пластину точно на указанное расстояние.

– Вот так, – выдохнул он сквозь маску.

Больше за всю операцию он не сказал мне ни единого слова.

Когда сердце пациента запустилось после снятия зажима с аорты, монитор выдал ровный, ритмичный синусовый ритм. Музыка из колонок продолжала тихо наигрывать спокойный мотив. Бригада начала готовиться к ушиванию грудины.

Тихонов отступил от стола первым. Снял бинокюляры, расстегнул сзади завязки халата. Операционная сестра приняла у него испачканные перчатки.

Он прошёл мимо меня буквально в десяти сантиметрах, направляясь к выходу в предоперационную. Посмотрел прямо перед собой, сквозь меня, как будто на моем месте стояла подставка для инструментов. Ни «спасибо за работу», ни

«хорошо держали», ни банального кивка. Ничего.

Дверь за ним закрылась.

Я отставила крючки на лоток и только тогда позволила себе согнуть затекшую спину. В позвоночнике болезненно хрустнуло. Перчатки от пота прилипли к коже так, что пришлось сдирать их вместе с верхним слоем эпидермиса.

Меня не похвалили.

Я стояла у раковины в предоперационной, смывая теплой водой с мылом следы антисептика с предплечий, и разглядывала свое отражение в зеркале. Лицо было бледным, под глазами залегли темные круги, маска оставила глубокий красный след на переносице.

Меня не похвалили. Но меня и не выгнали.

И это был первый раз за много лет — пожалуй, с самого поступления в институте, — когда я точно знала: меня оставили у стола не потому, что кто-то позвонил из ректората, и не потому, что у меня «правильная» фамилия Мезенцева. Тихонов вообще не знал, чья я дочь, или ему было на это глубоко плевать. Меня оставили просто потому, что я пять часов простояла молча, держа крюк именно так, как было нужно для операции.

В коридоре отделения, возле ординаторской, стояли те двое выгнанных старшекурсников. Григорьев злобно запикивал в спортивную сумку свои вещи, второй парень нервно курил у открытого форточного окна.

Когда я проходила мимо с папкой документов, Григорьев

вскинул голову. Лицо у него было серым от обиды.

– Ты пока не радуйся, Рощина, – выплюнул он мне в спину, застегивая молнию на сумке. – Он просто сегодня добрый был. Посмотрим, на какой неделе он тебя на хер из отделения выставит.

ГЛАВА 4

Часы на стене кабинета показывали четверть двенадцатого ночи.

Отделение погрузилось в ту сухую, техническую тишину, которая наступает только после тяжелого операционного дня. За окном шелестел осенний дождь, размазывая по стеклу желтые блики от фонарей на парковке.

Тихонов сидел за столом под одиночным кругом света от настольной лампы и заполнял электронный протокол операции.

«Пациент К., 62 года. Выполнено изолированное протезирование митрального клапана механическим двустворчатым протезом St. Jude Medical № 29...»

Пальцы выбивали по клавиатуре короткий, сухой дробный ритм. В голове крутилась раскадровка прошедшей операции — не картинкой, а чёткими анатомическими блоками. Доступ: разрез ровный, без повреждения внутренней грудной артерии. Кардиоплегия: защита миокарда прошла без нюансов, восстановление синусового ритма на первой минуте после снятия зажима с аорты. Подшивание манжеты: четырнадцать П-образных швов на пролене 2-0.

На двенадцатом шве тканевая структура фиброзного кольца в задне-боковой зоне показалась рыхловатой. Пришлось захватить на миллиметр глубже, чуть рискуя повре-

дить огибающую артерию. Риск оправдался. Течи нет, градиент давления на клапане — в идеальных пределах.

Это была сложная, чистая работа. Из тех, про которые молодые хирурги потом шепчутся в курилках, пытаюсь угадать «секрет техники».

Секрета не было. Была география ткани, которую ты за двадцать два года у стола выучил как собственную ладонь, и полное отсутствие соплей в процессе.

Мысль неожиданно вильнула в сторону.

Шесть часов.

Она простояла у стола шесть часов подряд. Без движения. Не переступила с ноги на ногу, не выгнула затекшую поясницу, не сделала ни единого попытки вытереть пот с со лба, хотя маска явно натерла ей переносицу. И главное — ни одного вопроса. Ни единого этого глупого, восторженно-ученического «Дмитрий Сергеевич, а почему вы берете именно эту нить?», которым обычно грешат ординаторы первого года, пытаясь изобразить глубокую вовлеченность.

Она просто держала крюк. А когда он назвал её фамилию и велел сместить металлическую пластину на два сантиметра — сместила ровно на два. Без переспросов. Без уточнений.

Тихонов замер, занеся палец над клавишей Enter, и раздраженно нахмурился.

«Какого черта?»

Он ловил себя на оценке ординатора второй раз за три дня. Это становилось похожим на системную ошибку. Дев-

чонка просто отстояла ассистенцию, сделала то, что от нее требовалось, и ушла. Понятный функционал. Не о чем думать.

Дверь кабинета толкнулись носком обуви.

В проеме появился Тимур Мелик-Оганян. Он уже переоделся в гражданское — темно-синий джемпер и потертые джинсы, — но выглядел не менее мятым, чем после шести часов наркоза. В руках он держал две картонные кружки с дрянным растворимым кофе из автомата на первом этаже.

– Держи, трудоголик, – Тимур поставил одну кружку на край стола прямо поверх распечатанных анализов и без приглашения валился в кожаное кресло для посетителей. – Твой любимый отвар из жженных опилок.

– Я заполняю протокол, – отрезал Тихонов, не закрывая окно программы.

– Заполняй-заполняй. Я молча посижу. Посплю стоя, как лошадь.

Тимур с наслаждением сделал глоток горячей дряни, вытянул ноги и пару минут действительно сидел молча, разглядывая темное окно. Они знали друг друга шестнадцать лет — со времен первой совместной дежурной смены в областной больнице, когда у них на руках за ночь легли трое поступающих с ножевыми. В этом кабинете Мелик-Оганян был единственным человеком, кому позволялось заходить без стука, пить чужой кофе и задавать вопросы, за которые остальные мгновенно вылетали в коридор.

– Ты сегодня Григорьева с Васькой из операционной выставил, – тихо проговорил Тимур, не поворачивая головы.

– Они болтали.

– Я знаю. Я сзади стоял, все слышал. Григорьев — идиотина, согласен. Но ты же понимаешь, что они теперь по всему центру трезвонить будут?

– Пусть трезвонят.

– Дим, – Тимур повернулся, опираясь локтями о колени. Взгляд анестезиолога стал серьезным, без привычной панибратской подколки. – А Рошину ты почему оставил?

Тихонов даже не повернул головы от монитора: – У нее были нормальные руки. Она держала крюк.

– У Григорьева тоже нормальные руки, когда он не паникует. Ты его выгнал за три слова про зачет. А рошинские сопли выдержал пять часов.

– У нее не было соплей.

– Вот именно, – Тимур усмехнулся, покачав головой. – Вот именно. Ты к ней приглядываешься. Скажи еще, что я вру.

Тихонов наконец оторвал пальцы от клавиатуры, откинулся на спинку кресла и посмотрел на Мелик-Оганяна тем тяжелым, слоистым взглядом, от которого ординаторы обычно начинали заикаться.

– Мелик, вали домой. У тебя завтра первая плановая в восемь утра.

– Не уклоняйся от темы, Дим. Я тебе этот вопрос раз в три

года задаю, когда у тебя очередной ординатор на горизонте рисуется. Почему ты за восемь лет ни разу не взял никого в личную работу? Ни одного пацана, ни одну девку. На тебя учебный отдел во главе с Гущиной уже волком смотрит. У всех заведующих по два-три ученика, а у тебя — пустыня. Ты их берешь на три месяца, выжимаешь досуха и выкидываешь на кафедру.

Тихонов молчал секунд пять. Слышно было только, как за окном капает вода из водосточного желоба.

Потом он произнес формулу — сухо, отчеканено, словно зачитывал цитату из старого руководства по дежурствам:

— Потому что я не умею учить наполовину. А целиком — это уже не учёба.

Тимур не сдвинулся с места. Смотрел на него долго, без улыбки.

— Твоя «не учёба» восемь лет назад плохо кончилась, Дим.

— Намек понял, — Тихонов указал подбородком на дверь. — Пошел вон.

Мелик-Оганян поднялся с кресла, выкинул пустой картонный стаканчик в урну у входа и замер у порога, взявшись за дверную ручку.

— Она хорошая девчонка, Дим. Толковая. Но она Мезенцева. У нее в глазах та же херня написана, что у её папаши тридцать лет назад: «я докажу всем, что я здесь лучшая». Ты её либо сломаешь, либо сгоришь с ней сам.

— Я сказал — вон, — повторил Тихонов.

Дверь тихо щелкнула, закрывшись.

Тихонов остался один. В кабинете снова воцарилась тишина.

Он посидел ровно полминуты, тупо уставившись на мигающий курсор на экране компьютера. Разговор с Тимуром оставил в рту неприятный, кисловатый привкус — точно такой же, как этот дрянной кофе из автомата.

Он сворачивал программу протокола операции и открыл рабочую папку учебного отдела.

Перед ним снова возник список прикрепленных ординаторов второго года. Три фамилии.

Тихонов подвел курсор мыши к последней строчке.

«Рощина В. А.»

Повисла секундная пауза. Он знал, что делает административную глупость. Никакого графика ассистенций на ноябрь еще не требовалось, Гущина просила составить его только к концу следующей недели. Но палец сам кликнул по ячейке напротив её фамилии, ставят короткую, аккуратную галочку в графе «персональное закрепление на дежурный блок».

Себе он объяснил это абсолютно четко и рационально: девчонка единственная из всего потока не дергается у стола и способна отстоять шесть часов без нытья. Чистая логика. Ничего личного. Административная формальность, чтобы у Гущиной не было лишних поводов задавать вопросы на утренних конференциях.

Он закрыл ноутбук, выключил настольную лампу и пошел к выходу в темный коридор.

ГЛАВА 5

Восемь утра в малом конференц-зале центра — это тридцать человек, источающих густой аромат пережженного кофе, влажной шерсти и аптечной мяты.

Окна затянуло серой сентябрьской моросью. На стене горел мощный проектор, высвечивающий коронарограмму и компьютерную томографию грудной клетки. Утренняя конференция отделения реконструктивной хирургии проходила ежедневно, но по пятницам сюда сползались все: от маститых профессоров до зевающих ординаторов первого года.

За трибуной стоял старший ординатор Григорьев — тот самый, которого Тихонов две недели назад выставил из операционной за болтовню. Он торопливо щелкал пупком указки, зачитывая анамнез:

– Пациент С., 58 лет. Повторное поступление. В анамнезе — протезирование аортального клапана пять лет назад. Сейчас имеем нарастающую одышку, явления выраженной недостаточности на протезе, подозрение на паннус или бактериальный эндокардит.

Григорьев запнулся, перелистнул слайд: – В связи с высокими рисками предлагается консервативная тактика с динамическим наблюдением и антибиотикотерапией.

В зале зашуршали бумагами. Тихонов сидел в первом ряду, чуть откинувшись на спинку кресла, сложив руки на гру-

ди. На нем был чистый хирургический костюм, под глазами — привычные темные круги. За все двадцать минут доклада он не вымолвил ни слова, только иногда медленно прищурился, разглядывая снимки КТ.

— Коллеги, у кого будут мнения по представленной тактике? — негромко спросил Тихонов.

Голос у него был будничным, но в зале мгновенно наступила та самая осторожная тишина, когда каждый боится ляпнуть глупость и стать мишенью. Врачи переглядывались. Григорьев у трибуны заметно нервничал, переминаясь с ноги на ногу.

— Выраженный гипертрофический миокард, повторный доступ через стернотомию... Риск кровотечения колоссальный, — подал голос один из дежурных хирургов. — Я согласен с выжидательной тактикой.

Я сидела в четвертом ряду, между Кириллом и Алисой Севериной. Пальцы сами сжали край пластикового планшета с записями. Слайд с томографией висел прямо перед глазами. Я видела этот снимок накануне в архиве, когда дежурила по отделению.

Меня никто не спрашивал. Ординаторам второго года на утренних конференциях полагалось молчать, дышать через нос и впитывать мудрость старших.

Но руки опередили мысль. Я подняла ладонь.

Кирилл рядом со мной тихо ойкнул и попытался схватить меня за рукав халата, но было поздно.

Тихонов медленно повернул голову. Его серые глаза сфокусировались на мне мгновенно — точно, сурово, без единой эмоции.

— Ординатор Рощина? — прозвучало от первого ряда. — У вас есть замечания к докладу?

Я встала. Колени на секунду показались деревянными, но голос выровнялся сразу:

— Тактика ошибочна. Консервативное лечение здесь не применимо.

По залу прошел легкий смешок. Григорьев у трибуны налился багровой краской.

— Обоснуйте, — коротко велел Тихонов, не меняя позы.

Я заговорила четко, ровно, как учила на кафедрах: — Согласно национальным рекомендациям по кардиохирургии от двадцать третьего года, при наличии градиента давления на протезе свыше сорока миллиметров ртутного столба и нарастании признаков сердечной недостаточности показано экстренное повторное хирургическое вмешательство. Репротезирование аортального клапана с ревизией восходящей аорты. Выжидательная тактика приведет к острой левожелудочковой недостаточности в течение двух-трех недель. Параграф четыре, раздел «Повторные операции».

Я закончила и села. Текст вышел безупречным. Вьетнамский цитатник, от зубов отскакивало. Я буквально видела перед собой страницу учебника с выделенным жирным шрифтом абзацем.

Тихонов смотрел на меня около пяти секунд. В полной, звенящей тишине зала.

Потом он медленно опустил руки, встал с кресла и развернулся лицом к аудитории.

– Отличный пересказ, Рощина, – произнес он. Голос не был громким, но разносился по малому залу так, будто он говорил в микрофон. – Пять с плюсом за память и знание параграфов.

Алиса Северина справа от меня слегка подалась вперед, на её губах расплылась аккуратная, едва заметная ядовитая улыбка.

– А теперь послушайте меня, – Тихонов шагнул к доске, даже не глядя на раскрасневшегося Григорьева. – У вас хорошая техника, Рощина. У вас хорошие руки. Но в кардиохирургии руки решают меньше всего. Ординатор с идеальным швом и чужой головой — это будущая катастрофа у стола. Вы мне сейчас зачитали учебник пятилетней давности, совершенно не посмотрев на третью проекцию КТ. Там спачный процесс в области задней стенки такой, что при повторном доступе вы порвете правый желудочек раньше, чем доберетесь до рукоятки грудины.

Он повернулся и посмотрел на меня прямо. Тяжело, безжалостно, в упор при тридцати коллегах.

– Возвращайтесь на конференцию тогда, когда у вас появится собственное клиническое мнение, а не заученный пересказ чужих книжек.

Он перевел взгляд на дежурного врача: – Пациента С. брать на дообследование. Транспищеводное ЭХО сегодня в три. Все свободны.

Тихонов вышел из зала первым.

Народ задвигал стульями, гулом посыпались разговоры. Я сидела на своем месте, не в силах сдвинуться, ощущая, как к щекам приливает горячая, жгучая волна. Не от обиды — от бешенства на саму себя. Он был прав. Я действительно не поглядела на третью проекцию, я просто вытащила из памяти готовую схему из книжки, чтобы блеснуть знаниями.

– Ну все, Рощина, это конец, – тихо шепнул Кирилл, сочувственно похлопав меня по плечу. – Он тебя запомнил. Теперь до конца года будет на каждом обходе раскатывать тонким слоем. Северина вон аж светится вся от счастья.

Я посмотрела на Алису. Та грациозно поправляла воротничок халата, не скрывая торжествующего взгляда.

– Не дождется, – пробормотала я сквозь зубы, хватая свой планшет.

Библиотека центра на пятом этаже была полупустой и прохладной.

Я просидела там до полуночи. На столе перед мной горой лежали свежие журналы «Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery» за последний год, снимки КТ пациента С., выпрошенные у рентгенологов под честное слово, и три монографии по повторным доступам при тяжелом спячном процессе.

Я перерисовывала схемы, считала градиенты, сравнивала риски. Пальцы пачкались в маркерной краске, глаза жгло от высушенного лампами воздуха. Мозг работал с какой-то злой, кристальной четкостью.

У меня не было «чужой головы». Я просто привыкла защищаться зубрежкой от вечных подозрений в блате. И если Тихонову нужно было клиническое мышление — он его получит.

В восемь часов тридцать минут утра следующего дня я стояла перед дверью его кабинета.

Короткий стук.

– Войдите.

Тихонов сидел за столом, взирая на экран ноутбука. На нем была все та же хирургическая куртка. Рядом остывала кружка с черным кофе.

Я шагнула через порог и положила на край его стола два аккуратно отпечатанных листа.

– Что это? – он даже не поднял головы, выбивая что-то на клавиатуре.

– Альтернативный разбор случая пациента С., – сказала я ровно. – С учетом третьей проекции КТ и спаечного процесса по задней стенке.

Тихонов замер. Пальцы зависли над клавишами. Он медленно поднял глаза, разглядывая меня так, будто я принесла ему не бумаги, а неразорвавшийся снаряд.

– Я вас не просил ничего писать, Рощина.

– Вы сказали вернуться, когда появится свое мнение. Оно здесь.

Он молчал секунды три. Потом протянул руку, взял листы.

Я стояла у стола, выпрямив спину, пока он читал. Тихонов не торопился. Палец медленно скользил по строчкам. Прочитал первую страницу. Перевернул.

Там не было ни одной цитаты из учебника. Только жесткий расчет: предлагаемый боковой доступ через левостороннюю торакотомию в обход сращений, гипотермическая перфузия, мини-доступ к аорте и тактика ушивания с использованием бескаркасного биопротеза.

Он читает две страницы в абсолютной, звенящей тишине. Лицо его оставалось совершенно непроницаемым. Ни один мускул не дрогнул.

Наконец он аккуратно сложил листы пополам и положил их на край стола.

– В четверг придёте в операционную, – произнес он сухо, снова уставившись в монитор ноутбука. – Встанете первым ассистентом на заборе вены.

Я на секунду затаила дыхание. Первый ассистент на заборе большой подкожной вены для шунтирования — это не крючки держать. Это самостоятельный этап работы с тканями. Операция. Настоящая.

– Поняла, Дмитрий Сергеевич. Спасибо.

Я повернулась и быстро пошла к выходу, стараясь удер-

живать ровный шаг.

Уже натягивая ручку двери на себя, я замерла. За моей спиной в кабинете щелкнула тумблер старого магнитофона, и тихо, едва слышно, по комнате поплыли первые аккорды спокойной гитарной мелодии.

ГЛАВА 6

К октябрю отделение реконструктивной хирургии перестало казаться стерильным лабиринтом из белого кафеля и запертых дверей. Оно обрело свои запахи, звуки и четкую, неофициальную иерархию.

Ординаторская на втором этаже была нашим штабом. Помещение три на четыре метра, забитое диваном с вытертой дерматиновой обивкой, двумя столами, горой незаполненных историй болезни и микроволновкой, у которой не закрывалась дверца, если не подпереть ее старым томом хирургической анатомии.

Обед в ординаторской — это был отдельный вид боевых действий. Очередь к микроволновке занимали с одиннадцати утра.

– Ефремов, если ты опять греешь свою рыбу больше двух минут, я тебе эту банкой с сардинами анастомоз на носу сделаю, – бурчал Григорьев, тщетно пытаясь втиснуть в холодильник контейнер с гречкой.

– Григорьев, расслабься, – Кирилл с силой прижал дверцу микроволновки томом анатомии и нажал старт. – Рыба стимулирует мозговую деятельность. Тебе бы тоже пару кусков съесть, а то ты вчера на обходе узел три минуты связывал, будто у тебя пальцы из пластилина.

Кирилл вообще превратил юмор в бронежилет. Он шутил

безостановочно, громко, иногда невпопад, раздавая клички врачам и напевая глупые мотивчики перед входом в операционную. Только я видела, как после дежурств у него мелко подрагивают подбородки, и как он по три раза перечитывал простейшие назначения перед тем, как отдать их медсестрам. Он панически боялся не потянуть. Боялся, что однажды Тихонов посмотрит на него тем самым взглядом и выставит за дверь.

За эти два месяца сложился и негласный кодекс отделения.

Спать на дежурстве разрешалось только в третьей каталке у окна в смотровой — там не так дуло. Вторую каталку занимать было нельзя: на ней лежал реквизит для экстренной ре-стернотомии. Врач-ангиограф Соколов не прощал, если ему не оставляли крепкий чай. А профессор Вайнштейн приходил в бешенство, если в историях болезни вместо «аортальный» писали «аортальный клапан».

Около двух часов дня дверь ординаторской без стука распахнулась.

На пороге появился Тимур Мелик-Оганян. На нем был зеленый хирургический костюм, шапочка со смешными пальмами и неизменный фонендоскоп на шее.

– Так, молодежь, у кого тут пахнет чем-то съедобным? – Тимур без зазрения совести подошел к столу, взял чью-то оставленную пластиковую миску с борщом и сгрузил на край стола кучу незаполненных бланков.

– Тимур Захарович, это же мой суп! – подал голос ординатор первого года.

– Был твой, стал анестезиологической пошлиной за спокойный наркоз на твоей завтрашней операции, – Тимур зачерпнул ложку, проглотил и с удовольствием зажмурился.

– Слушай сюда, пехота. Вы там на Тихонова наговариваете, что он изверг и деспот. А он просто правильный. Димка же никогда не орет. В этом его главная фишка. Если Тихонов на тебя орет — поздравляю, ты еще живой, он из тебя человека сделать пытается. А вот если он вдруг начинает говорить с тобой очень вежливо, тихо так, называет на «вы» и с инициалами... Всё, суши весла. Это значит, ты для него умер как хирург. Он просто перестает с тобой разговаривать. Вообще. Стоишь у стола, крючки держишь, а для него там пустое место.

Ординаторы притихли. Даже Кирилл перестал жужжать микроволновкой.

– И сколько таких «мертвых» у него было? – тихо спросил Кирилл.

Тимур сделал еще одну ложку борща, задумчиво посмотрел в окно и ответил уже без привычной подколки: – Много. Слишком много для одного отделения. Так что вы у него под руками не путайтесь, если жить хотите.

В этот момент в ординаторскую вошла Алиса Северина. Как всегда — безупречная. Наглаженный халат сидел по фигуре, на лице — легкий, незаметный макияж, волосок к

волоску. Алиса никогда не ела в ординаторской разогретую еду из контейнеров, отдавая предпочтение салатам из большого буфета на первом этаже. Она всегда знала правильные ответы на конференциях, ссылаясь на самые свежие гайдлайны и ни разу за два месяца не задержалась в отделении дольше шестнадцати сорока пяти.

Алиса подошла к настенной доске, где висел график ассистенций на следующую неделю.

– Вера, – проговорила она мягким, ровным голосом, не оборачиваясь. – Ты почему меня переписала на четверг? У меня стояла пластика аортального у Тихонова, а ты поставила себя первым ассистентом на забор вены.

В ординаторской мгновенно стало тихо.

– Я тебя не переписывала, Алиса, – я отложила историю болезни. – График утверждал сам Дмитрий Сергеевич вчера вечером. Проверь его подпись внизу.

Алиса медленно повернулась. На её губах застыла та самая безупречная, вежливая улыбка, от которой веяло ледяным сквозняком.

– Ах, сам Дмитрий Сергеевич... Ну да, конечно. Извини, я забыла, что у нас теперь отдельные распоряжения для отдельных ординаторов.

– Что это значит? – прямо спросила я.

– Ничего, Вера. Абсолютно ничего, – Алиса аккуратно поправила манжету халата. – Просто в отделении уже все шепчутся. Заведующий не брал ординаторов в личные операции

лет восемь. А тут вдруг такая трогательная забота. И разбор тебе индивидуальные, и вены первой давать шить...

– Северина, рот прикрой, – подал голос Кирилл, резко вставая со стула. – Рощина за этот разбор две ночи в библиотеке просидела!

– Я же не спорю, Кирилл, – Алиса улыбнулась еще шире, но взгляд её остался совершенно сухим. – Я просто говорю то, о чем старшие ординаторы в буфете со вчерашнего дня судачатся. Тихонов взял Рощину под себя, и всем «понятно почему». Удобно, когда у тебя такой старательный ординатор.

Внутри у меня все обвалилось. Глухая, злая волна ударила в грудь. Ничего еще не произошло, между нами не было вообще ничего, кроме жестких разборов и трех капель антисептика на шовном тренажере, а ядовитая липкая сплетня уже поползла по коридорам.

– Ты свои грязные домыслы при себе оставь, Алиса, – сказала я очень тихо, но так, что Северина слегка моргнула. – Или иди к Тихонову и спроси у него прямо в лицо. Хочешь, я с тобой сейчас схожу?

Алиса на секунду замялась, её вежливая маска чуть поплыла. Пойти к Тихонову с подобным вопросом означало вылететь из отделения в ту же секунду.

– Не утрируй, Вера, – сухо бросила она, берет свою сумочку и пошла к выходу. – Работай дальше. Тебе еще долго доказывать, что ты здесь из-за «хороших рук».

Дверь хлопнула.

В ординаторской повисла тяжелая павза. Тимур доел свой борщ, отставил миску и с глубоким вздохом поднялся с места. Посмотрел на меня серьезно, без юмора:

— Не бери в голову, Рощина. У Севериной папа — большой начальник, она привыкла, что всё по праву рождения полагается. Но ты запомни: в этом отделении стены прозрачные. А слухи у нас летают быстрее, чем заводится аппарат искусственного кровообращения.

К полуночи отделение вымерло.

Дежурство выдалось тихим, пациенты в палатах спали, только реанимация шуршала за матовыми стеклами. Голова гудела от историй болезни, и я решила выйти на задний двор покурить.

Октябрьский ветер был жгучим и сырым. Я встала на облупленной скамейке возле забора, накинув на плечи старую куртку, и зажгла сигарету. Затянулась никчемным дымом, разглядывая огромный, темный массив пятиэтажного хирургического корпуса.

Почти все окна были черными. Кое-где тускло светились дежурные лампы реанимации.

И только на третьем этаже, в самом конце правого крыла, ярко горел одинокий прямоугольник окна.

Кабинет Тихонова.

Полночь. Никаких экстренных операций сегодня не было, его смена закончилась шесть часов назад. Но за темным стек-

лом промелькнул его силуэт — высокий, слегка сутулый. Он стоял у окна с какими-то бумагами, а потом на секунду поднял голову и посмотрел вниз, в темноту двора, прямо туда, где светился красный огонек моей сигареты.

ГЛАВА 7

Операционная № 2 была затоплена холодным, белым светом бестеневых ламп.

Главный этап аортокоронарного шунтирования еще не начался. На основном поле работал старший хирург отделения, а на выделенном участке ноги пациента стояла Вера.

Тихонов наблюдал за ней через плечо, сделав вид, что занят просмотром коронарограммы на настенном негатоскопе.

Ее задача была рутинной: выделить большую подкожную вену на голени, аккуратно лигировать все боковые ветви и забрать чистый, неповрежденный трансплантат для будущего шунта. Работа, которую ординаторам доверяют только после сотен часов стояния с крючками.

Ее скальпель шел по заранее намеченной линии без единого рывка. Никаких лишних порезов, никакого размозжения подкожно-жировой клетчатки. Пальцы в стерильных перчатках работали с той редкой, мягкой точностью, при которой ткань не рвется, а словно сама расходится под инструментом. Разрез был ровным, лаконичным, без единой лишней капли крови. Она брала боковые притоки на шелк так быстро и чистенько, словно делала это тридцатый раз за месяц.

Она работала быстрее, чем он ожидал. И значительно аккуратнее большинства третьеклассников.

В какой-то момент Тихонов поймал себя на импульсе. Горло сжало сухим, произвольным желанием шагнуть ближе, наклониться к ее маске и сказать вслух: «Хорошо, Вера. Очень чисто».

Слова уже почти дошли до губ.

Он жестко сжал зубы под маской так, что заломило желваки, и сделал шаг назад, к негатоскопу.

Никакой похвалы. Ни единого слова. Похвала в операционной плодит самоуверенность, а самоуверенность у ординаторов второго года превращается в кладбище.

– Заканчивайте гемостаз, Рощина, и замачивайте вену в гепарине, – отрезал он сухим, бесстрастным тоном. – Через десять минут открываем грудину.

– Поняла, Дмитрий Сергеевич. Готово, – откликнулась она сквозь ткань маски. Голос ровный, без единой нотки обиды на сухой тон.

После операции в предоперационной шумела вода.

Тихонов стоял перед глубокой стальной раковиной, методично взбивая локтями и кистями густую пену антисептического мыла. Горячая вода смывала напряжение пяти часов у стола, но в затылке продолжала пульсировать тупая, застарелая боль.

Рядом включил кран Тимур Мелик-Оганян. Анестезиолог смывал розовый раствор с предплечий, изредка поглядывая на Тихонова через настенное зеркало.

– Чисто сработала девчонка, – тихо сказал Тимур, закру-

чивая кран. – Венозный трансплантат как из учебника. Ни одного надрыва, ни одной гематомы. Ты ей хоть «спасибо» сказал?

– За что «спасибо»? – Тихонов вытер руки стерильным бумажным полотенцем. – За то, что она выполнила стандартный этап без брака? Это её работа.

– Дим, не крути хвостом, – Тимур повернулся к нему дозором, опираясь поясницей о раковину. Голос анестезиолога потерял привычную смешливость. – Ты снова начал учить.

– Я выполняю план подготовки ординаторов, утвержденный Гущиной.

– Ты дал ей забор вены на коронарке. Сам. Лично стоял и пас каждую секунду. Точно так же, как восемь лет назад.

– Не сравнивай, – резко отрезал Тихонов. В предоперационной мгновенно стало холодно.

– А я буду сравнивать, – Тимур не отступил, уставившись ему прямо в глаза. – Потому что я помню, чем это закончилось. Ты сейчас делаешь ровно то же самое: показываешь ей, что она особенная, что ей можно чуть больше, чем остальным десяти идиотам в ординаторской. А потом она поверит, что схватила бога за бороду.

– Рощина не схватит, – процедил Тихонов.

– Все хватают, Дим! Все молодые думают, что если заведующий смотрит на них с интересом, то правила написаны для кого-то другого!

Тихонов выкинул бумажное полотенце в бак и пошел в

свой кабинет, не дожидаясь продолжения разговора. Шаги отдавались в пустом коридоре сухими, тяжелыми ударами.

В кабинете он не стал включать свет. Сел в кресло перед темным окном, уставившись на мокрый асфальт парковки.

В голове прокручивался список причин, почему Рошину нельзя подпускать на расстояние вытянутой руки.

Она ординатор. Ей двадцать шесть. Она дочь Мезенцева, и у нее впереди либо блестящая карьера, либо сломанные шеи. У него — отделение на тридцать коек, ответственность за сотни жизней и сорок семь лет за плечами.

Но главное было в другом. Самый важный запрет не имел отношения к административному кодексу или разнице в возрасте.

«Ординатор, который поверил, что ему можно больше, — это ординатор, которого я убил».

Эта фраза звучала в его голове как приговор. Он вывел ее восемь лет назад и выжег у себя на подкорке.

...Снова вспыхнула ночь. Ноябрь. Три часа сорок минут на электронных часах над пультом реанимации. Он спит дома в своей пустой квартире, вымотанный после трех суток дежурств. На тумбочке у кровати разрывается телефон. Экран светится коротким именем. Один вызов. Второй. Третий. Он переворачивается на другой бок, прижимая подушку к уху, думая: «Дежурный хирург там есть, она справится, она же умница, я сам показал ей всю тактику...» А наутро — труп на столе, разорванный анастомоз и за-

плаканные глаза Донцовой, которая приняла решение одна, потому что поверила, что ей — можно...

Тихонов сжал кулаки так, что ногти впились в ладони.

Телефон. Он тогда просто не взял трубку. Посчитал, что она должна научиться сама. И этим молчанием подписал ей приговор.

Никакого повторения. Никакой близости. Вера Рощина будет выполнять ровно тот объем, который прописан в программе. Ни на сантиметр больше.

Он резко зажег настольную лампу, открыл приказ по отделению и вытащил черновую сетку графиков на ноябрь.

Пальцы вывели ее фамилию напротив первого блока операций. Понедельник — Рощина. Среда — Рощина. Пятница — Рощина. Вся его личная операционная сетка на следующий месяц оказалась забита только одной фамилией.

Тихонов бросил ручку на стол, нахмурившись от собственного действия.

«Это не протекция, – сказал он себе вслух в пустую темноту кабинета. – Это удобство. Она единственная из всех двенадцати человек не опаздывает на пятиминутки и не дергает пальцами, когда я беру скальпель».

Он закрыл пачку, тупо зная, что лжет себе в каждом слове.

ГЛАВА 8

Ноябрьский утренний обход напоминал процессию: впереди Тихонов, за ним Тимур, два дежурных хирурга и цепочка ординаторов. В третьей палате у окна лежал пациент Воронов, шестьдесят два года, с ишемической болезнью и сомнительными показаниями к аортокоронарному шунтированию.

Григорьев, стоя у койки, уверенно зачитывал выписку:

– У пациента выраженная стенокардия напряжения, по коронарографии — критический стеноз передней межжелудочковой артерии. Предлагается стандартное шунтирование в плановом порядке.

Я стояла во втором ряду, перелистывая копию истории болезни. Пальцы зацепились за мелкую, почти нечитаемую запись от дежурного терапевта, сделанную три дня назад при поступлении в приемный покой.

– Тактика не подходит, – вырвалось у меня раньше, чем я успела зажать себе рот.

Свита у койки замерла. Григорьев поперхнулся воздухом и оглянулся на меня с такой ненавистью, будто я сдернула с него халат. Алиса Северина в третьем ряду слегка приподняла бровь.

Тихонов повернулся медленно. Взгляд серых глаз оставался ровным, без раздражения и без интереса.

– Поясните, Рощина.

– У больного два дня назад на фоне введения контраста был эпизод анурии, – я шагнула вперед, указывая на нижнюю строчку лабораторного вкладыша. – Почечная недостаточность в анамнезе не фигурирует, но креатин за ночь подскочил со ста до двухсот двадцати. Если мы заберем его на АИК сейчас, на искусственном кровообращении мы засадим ему почки окончательно. Там не шунтирование нужно первым этапом, а рентгенэндоваскулярная ангиопластика со стентированием на работающем сердце, без аппарата. И предварительная гидратация.

В палате повисла тишина. Григорьев нервно сглотнул: – Вера Андреевна фантазирует. В основной карте креатинин нормальный...

– Анализ за вчерашний вечер из экстренной лаборатории, – перебила я, глядя прямо на Тихонова. – Его не подшили в папку, он лежал в конверте на посту.

Тихонов молчал секунд пять. Протянул длинную сухую ладонь, забрал у меня листок, вчитался в цифры. Лицо осталось каменным.

– Проверьте, – произнес он одно слово, возвращая бумагу Григорьеву, и пошел к следующей койке.

Через два часа повторный экспресс-анализ подтвердил креатинин 215. План операции переписали прямо на дневной пятиминутке.

В три часа дня Воронова подали в операционную № 1.

Вместо АИК выбрали стентирование и гибридный доступ на работающем сердце. Меня впервые поставили не просто держать крючки, а вторым ассистентом — по правую руку от Тихонова.

В операционной тихо наигрывала спокойная гитарная тема. Поле накрыли, грудина была закрыта, доступ шел через небольшой разрез.

На сороковой минуте Тихонов замер с пинцетом в руке. Сердце пациента мерно сокращалось в ране. Сосуд оказался с выраженным кальцинозом, проход скальпелем под классический шов выглядел сомнительно — стенка могла крошиться под игольником.

Тихонов не шевелился секунд десять. Вся бригада замерла. Операционная сестра застыла с зажимом наготове, перфузиолог у своего аппарата подался вперед.

Тихонов медленно повернул голову в биноклях ко мне. — Что дальше? — спросил он вслух.

Голос прозвучал отчетливо сквозь ткань маски. Это не была экзаменационная проверка. В его интонации не звучало уловки. Это был прямой, рабочий вопрос коллеге над открытым полем.

Я почувствовала, как по спине между лопаток скатилась горячая капля пота. В операционной за двенадцать лет никто не слышал, чтобы Тихонов хоть у кого-то спрашивал совета.

Я всмотрелась в рану, на узкий, побелевший от извести участок артерии.

– Не резать по бляшке, – прошептала я сквозь маску. – Уйти на полсантиметра дистальнее, где стенка мягче, и взять микрохирургическую иглу 7-0.

Тихонов не произнес ни слова. Он протянул левую руку к лотку: – Пролен 7-0. Микропинцет.

И сделал ровно так, как я сказала.

Анастомоз лег идеально. Кровоток по артерии восстановился без единого надрыва ткани.

Анестезиолог за своим экраном медленно перевел взгляд с монитора на Тихонова, потом на меня, но не вымолвил ни звука. Операционная сестра подавала инструменты с такой осторожностью, будто воздух в комнате стал хрустальным.

Вечером в ординаторской стоял полумрак. Я сидела у окна, забивая в систему дневники обхода, когда дверь открылась.

Алиса Северина вошла тихо, не шурша халатом. Она налила себе воды из кулера, медленно отпила небольшой глоток и повернулась ко мне, прислонившись бедром к краю стола.

– Вера, – проговорила она ровным, почти светским тоном. – Я всё хочу спросить... А ты из какого города вообще перевелась?

– Из Москвы, – не оторвала я глаз от экрана. – Из Первого Меда.

– Надо же, – Алиса улыбнулась уголками губ, поправляя идеально уложенную прядь. – Простой ординатор из Моск-

вы без связей, а держишься так, будто у тебя за спиной как минимум академик стоит. У тебя родители врачи? Кто они вообще?

Я выдержала паузу в пару секунд, сохраняя абсолютно ровное дыхание. Палец застыл над клавишей мышки.

– Мама — учительница математики в средней школе, — сказала я, поворачиваясь к ней. — А отца у меня нет. Еще вопросы будут?

Алиса всматривалась в мое лицо долгие три секунды, пытаясь уловить хоть малейшую фальшь, потом мягко поставила стаканчик на стол:

– Нет. Просто интересное у тебя клиническое мышление, Рощина. Очень знакомое.

ГЛАВА 9

Правило первой ночи в отделении реконструкции не было записано ни в одном административном регламенте.

Оно существовало само по себе, как физический закон. Обычный кардиохирург после плановой операции ушивал грудину, передавал больного анестезиологам и уезжал домой. Заведующий отделением реконструктивной хирургии оставался. Если на столе делали сложную пластику корня аорты или повторное репротезирование на сомнительных тканях, первая ночь определяла всё. Перепад давления на тридцать миллиметров, микросгусток в дренаже, подтекание анастомоза — в первые двенадцать часов после снятия зажима с аорты пациент мог уйти за три минуты.

Хирург оставался у койки. И ординатор, ведущий этого пациента, тоже.

В одиннадцать вечера Тихонов вышел из предоперационной после восьмичасовой реконструкции клапана у сорокалетнего мужчины с выраженной недостаточностью. Снял халат, вытер шею полотенцем и пошел прямо в блок интенсивной терапии.

Застекленная палата реанимации встречала монотонным писком приборов, запахом озона и тусклым синим светом ночных дежурных ламп.

Пациент лежал под седацией, на искусственной вентиляции

ции легких. От грудной клетки тянулись гибкие прозрачные трубки дренажей к прозрачным емкостям на полу.

У левого края койки, на низком пластиковом стуле, сидела Вера.

Она не сменилась. Ее дежурство закончилось в восемь вечера, но она сидела у монитора уже четвертый час подряд. В руках — планшет с картой интенсивного наблюдения, на коленях — выключенный телефон. Халат слегка замялся на плече, под глазами залегли темные полукружья, но спина оставалась абсолютно прямой.

Тихонов замер у матовой стеклянной двери.

Он рассчитывал увидеть дежурного реаниматолога или хотя бы дежурного ординатора по центру. Но сидела она.

Тихонов бесшумно вошел в палату, взял второй пластиковый стул у соседней пустой койки и поставил его с противоположной стороны кровати. Сел.

Между ними было два метра больничной клеенки, один тяжелый пациент и три монотонно мигающих монитора.

Она подняла на него глаза — ровно на секунду. Не удивленно, без лишней суеты. Просто кивнула и снова перевела взгляд на зеленые линии сердечного ритма.

– Среднее АД? – негромко спросил Тихонов.

– Семьдесят четыре, – ответила Вера, не глядя на него. – Вводят норадреналин в минимальной дозе. Дренаж — сорок миллилитров за последний час, светлый.

Тихонов кивнул. Откинулся на спинку стула, положив ру-

ки на колени.

Время в реанимации течет иначе. Оно не измеряется часами. Оно разбивается на пятиминутные отрезки между заборными пробами газов крови и всплесками сердечного ритма.

До двух ночи в палате не прозвучало больше ни единого слова. Тихонов смотрел на датчики, Вера заполняла листок учета почасового диуреза. Временами заходила медсестра, тихо меняла флакон с раствором и так же бесшумно исчезала.

За окном реанимации шел ноябрьский мокрый снег. В тусклом свете дисплеев её лицо казалось высеченным из серого мрамора. Тихонов поймал себя на том, что следит за движениями ее пальцев, когда она заносит цифры в карту. Ни одного лишнего жеста. Ни разу за четыре часа она не достала телефон, не поправила прическу, не попыталась вытянуть затекшие ноги.

В 02:15 Тихонов поднялся, подошел к емкости дренажа, посветил фонариком.

– Почасовой? – спросил он.

– Тридцать пять, – откликнулась Вера, протягивая ему лист с графиком до того, как он успел опустить руку.

В четыре утра монитор тихо, прерывисто звякнул.

Зеленая кривая АД дернулась вниз: семьдесят, шестьдесят два, пятьдесят пять. Пульс подскочил до ста сорока. Пациент на койке слегка застонал сквозь интубационную труб-

ку, на лбу выступила крупная испарина.

Тихонов мгновенно поднялся со стула.

– Внутреннее? – отрывисто выдохнул он, наклоняясь над раной.

Вере не нужно было объяснять. Она уже стояла по другую сторону койки.

Дальнейшие двадцать минут пройдут в абсолютном, пугающем безмолвии. Они работали так, будто простояли у этой койки последние десять лет.

Тихонов только протягивал руку — и в пальцы мгновенно ложился нужный инструмент или шприц с дофамином. Он не успевал озвучить команду, а Вера уже пережимала клипсой дренажный катетер, проверяя, нет ли закупорки сгустком.

– Отсос, – выдохнул он.

– Готово, – она уже держала канюлю наготове, включив вакуум полсекунды назад.

Синхронность была не просто операционной привычкой. Это был язык. Ей не требовались его распоряжения: она читала движение его плеча, поворот головы, направление взгляда на монитор.

Через двадцать минут лизис сгустка в нижней трубки завершился, застоявшаяся кровь ушла в резервуар, давление подползло к отметке восемьдесят пять на шестьдесят. Сердечный ритм выровнялся. Пациент откинул голову на подушку, погружаясь в медикаментозный сон.

Тихонов вытер лоб тыльной стороной руки. В палате снова воцарился монотонный гул приборов.

На электронных часах над дверью горело 04:45.

Тихонов остановился, взявшись за ручку двери, и повернулся к ней:

– Идите спать, Рощина. В ординаторскую.

Вера стояла у койки, убирая испачканные салфетки в лоток. Взгляд у нее был упрямый, слипающийся от усталости.

– Я досижу до восьми, – сказала она ровно. – Смена дежурного реаниматолога только через три часа.

Тихонов смотрел на нее три секунды. Не стал настаивать. Не стал изображать заботливого начальника и отправлять указ административным тоном.

Он достал из кармана хирургической куртки плотный рабочий визитный листок, взял с планшета ручку и быстрым, размашистым почерком вывел на обороте одиннадцать цифр.

Шагнул обратно к койке и положил бумажку прямо поверх ее рабочей карты.

– Мой личный номер, – произнес он сухо. Голос был сиплым от ночного молчания. – Если даст нестабильность по АД ниже семидесяти или дренаж пойдет темным — сразу мне. Не дежурному по центру. Мне. Поняли?

Это была сугубая рабочая необходимость. Стандартная подстраховка для тяжелого реконструктивного больного, чтобы дежурный терапевт из другого корпуса не натворил

глупостей до приезда хирурга.

Вера посмотрела на листочек с цифрами, потом на него.
– Поняла, Дмитрий Сергеевич.

Тихонов повернулся и вышел из реанимации, не оборачиваясь.

В ординаторской в пять утра стояла гулкая, холодная тишина.

Я села на краешек продавливаемого дивана, не снимая халата. Ноги гудели так, будто я прошла двадцать километров по пересеченной местности.

Достала из кармана свой телефон. На коленях лежал маленький плотный прямоугольник бумаги с одиннадцатью цифрами, написанными коротким, размашистым, почти нечитаемым хирургическим почерком.

Пальцы вывели цифры в строку создания нового контакта.

Курсор замер в строке «Имя».

«Дмитрий Сергеевич»? Слишком официально для номера, который дается в пять утра в реанимации.

«Тихонов»? Сухо, как в приказе.

«Д. С.»?

Я смотрела на мигающую вертикальную черточку на светящемся экране. В голове настойчиво звучал его сиплый, ночной голос над спящим пациентом: *«Сразу мне. Поняли?»*

Я набрала две буквы: «Д. Т.»

Подумала три секунды, вытерла их и записала просто:

«Тихонов (Личный)».

Сохранить контакт.

Я убрала телефон в карман, откинула голову на жесткий валик у дивана и закрыла глаза. До утренней пятиминутки оставалось ровно два часа.

ГЛАВА 10

Марата привезли в середине ноября.

Ему было пятьдесят два года, у него были седые усы, круглый живот и протез митрального клапана, поставленный десять лет назад в Нижнем Новгороде. Протез отработал свое: створки обросли паннусом, градиент давления зашкаливал, а в аорте образовалась аневризма, готовая лопнуть от любого резкого прыжка давления. Повторная реконструкция с колоссальным риском.

Тихонов зашел в двухместную палату, просмотрел карту и коротко бросил, не поднимая глаз:

– Вера Андреевна, пациента берете вы. Подготовка к операции плановая, ведем вместе.

Марат оказался удивительно светлым человеком. Когда я впервые зашла послушать его легкие, он широко улыбнулся и протянул руку:

– Здравствуйте, доктор Вера!

– Я не доктор, Марат Гафурович, – смутилась я, переставляя стетоскоп на его груди. – Я ординатор.

– А для меня вы доктор, – отрезал он с хитрой ухмылкой. – У вас руки теплые и глаза серьезные. Врач должен быть именно таким, а не как ваш заведующий — будто из гранита высеченный.

Следующие три месяца спрессовались в один сплошной

день.

Мы готовили Марата долго, вычищая каждый скрытый инфекционный очаг, восстанавливая почки, подбирая дозы антикоагулянтов. Я выучила его анамнез наизусть. Узнала, что у него двое внуков, что он тридцать лет проработал инженером на заводе и панически боится не проснуться после наркоза.

Его жена, сухонькая женщина по имени Раиса, дежурила в коридоре каждые выходные. Она ловила меня у ординаторской, суя в руки то яблоки из своего сада, то еще горячие перепечи.

– Верочка, дочка, скажи честно: Дмитрий Сергеевич его спасет? – спрашивала она, сжимая мои пальцы своими сухими, дрожащими ладонями.

– Спасет, Раиса Васильевна, – ответила я, глядя ей прямо в глаза. – Мы все для этого сделаем.

Декабрь принес первые тяжелые заморозки. Вечера мы все чаще проводили в кабинете Тихонова.

Обычно в восемь вечера, когда отделение затихало, я стучала в его дверь с папкой снимков КТ. Тихонов включал негатоскоп, и мы часами разбирали предстоящий доступ. Спайки после первой операции затянули всю переднюю стенку сердца, вклинившись прямо в рукоятку грудины. Одно неверное движение пилы при стернотомии — и правый желудочек просто распорет.

– Посмотрите сюда, Вера, – Тихонов подходил сзади, ука-

зывая тонким указным карандашом на серую тень на томограмме. — Если пойти по классической методике, мы потеряем пациента на доступе.

В эти вечера между нами впервые пробила другая интонация. Сухой, отстраненный тон наставника постепенно разбавлялся чем-то живым.

— Я в девятом году ездил на стажировку в Ганновер, — сказал он однажды, отставляя ручку и откидываясь на спинку кресла. В кабинете горела только одна лампа, за окном валил густой снег. — Там оперировал один старый немец, профессор Браун. Он показал мне технику тупого разделения спаек через мини-тораотомию. Все наши считают этот метод слишком рискованным, а он давал идеальную выживаемость.

— Почему вы о ней не пишете в своих статьях? — спросила я, подняв на него глаза.

Тихонов коротко, сухо усмехнулся. Взгляд его потеплел.

— Потому что у нас любят инструкции, а не индивидуальную анатомию. Я тогда полгода в Германии прожил. Однокомнатная съемная квартира на окраине, до клиники сорок минут на велосипеде в любую погоду. Никого знакомых, язык только хирургический... Единственное, что держит в тонусе, — это работа у стола.

Он замолчал, сразу осознав, что сказал лишнее, раскрыл личную страницу дальше, чем собирался за весь этот год. Быстро откашлялся и снова уставился в снимки:

– В общем, возьмем ганноверский вариант. Прорисуйте доступ к завтрашнему утру.

Именно в декабре я заметила странную вещь: он не ел.

Утром — черная бурда из автомата. Днем на пятиминутке — снова кофе. Вечером в кабинете — пустой стол. На двенадцатичасовых операциях он держался на одном упрямстве. Единственный раз за сутки он что-то перекусывал, если Тимур приносил ему пирожок из буфета, да и тот часто остывал незамеченным на краю рабочего стола.

В четверг, около девяти вечера, я зашла в буфет на первом этаже, купила тарелку горячего гуляша с картофельным пюре, упаковала в контейнер и поднялась на третий этаж.

Без стука вошла в кабинет. Тихонов сидел над историями болезни, протирая глаза пальцами.

Я шагнула к столу, молча поставила перед ним контейнер с пюре, сверху положила одноразовую вилку и салфетку.

Тихонов замер. Посмотрел на контейнер, потом поднял глаза на меня. В серых глазах промелькнуло недоумение, смешанное с жестким желанием спросить «что это за самоуправство?».

Я не дала ему сказать ни слова.

– Приятного аппетита, Дмитрий Сергеевич, – проговорила я ровно. – Завтра в восемь обход.

Повернулась и выскочила в коридор, прикрыв дверь.

За дверью стояла тишина. Через полминуты я услышала тихий стук пластиковой вилки о контейнер. На следующее

утро чистый, вымытый контейнер стоял на столе в ординаторской. Ни он, ни я не обмолвились об этом ни единым словом.

В конце декабря, за день до назначенной даты операции, я зашла в палату к Марату.

Пациент сидел на кровати, аккуратно складывая в тумбочку свои вещи. Завтра в семь утра его должны были забрать в операционный блок.

– Ну что, доктор Вера? – спросил он, улыбаясь своей теплой, усатой улыбкой. – Все готово?

– Все готово, Марат Гафурович. Дмитрий Сергеевич лично будет оперировать. Все пройдет хорошо.

Марат посмотрел на меня внимательно, с той особой мудростью пожилого человека, который много видел в жизни. Наклонился чуть ближе и прошептал:

– Доктор Вера... А вы мне скажите как на духу. Кем вам Тихонов приходится?

Я от неожиданности чуть не уронила стетоскоп:

– В каком смысле? Он мой руководитель. Заведующий отделением.

Марат покрутил ус и тихо захохотал:

– Руководитель, говорите? Э-э, нет, дочка. Я за три недели на вас насмотрелся. Вы когда вместе в палату заходите или про операции свои спорите... Вы разговариваете, как люди, которые двадцать лет вместе работают. Или живут. Глазами друг друга понимаете без единого слова. Меня не обманешь,

у меня у самого дочь твоего возраста.

Я стояла посреди палаты, ощущая, как ледяная волна пробегает по коже от затылка до пят.

ГЛАВА 11

Шов на глубоком анастомозе не давался. Уже одиннадцатый раз подряд.

Нить резала силиконовую трубку, стежки ложились криво, а под неудобным углом кисть начинало сводить судорогой минуты через три. В учебной комнате на третьем этаже стоял густой полумрак, горела только одна настольная лампа над моим тренажёром. На часах было десять вечера. Отделение давно затихло, только где-то в конце коридора изредка звякала посуда на дежурном посте.

Я вытерла лбом плечо, пытаясь избавиться от назойливой капли пота, и снова взяла иглодержатель. Руки уже подрагивали от усталости, но уйти сейчас означало признать, что я хрупкая. А хрупких Тихонов выгонял первыми.

Дверь скрипнула без предупреждения.

Я не повернулась — думала, Кирилл вернулся за забытыми сигаретами. Но шаги были другие. Тяжелые, ровные.

– Угол не тот, Рощина, – раздалось над самым ухом.

Я вздрогнула и чуть не выронила инструмент. Тихонов стоял за моей спиной, слишком близко. От него пахло холодным уличным воздухом, крепким кофе и этим вечным медицинским антисептиком, который не смывается с кожи даже после трех душей.

Он был в своей обычной темной хирургической куртке,

без маски — впервые за весь день я могла разглядеть его подбородок с жесткой трехдневной щетиной.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.